

Дмитрий
БЫКОВ

Шести-
десять-
НИКИ

[литературные
портреты]



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВОРДИЯ
2019

От автора

Это не монография о шестидесятниках, а сборник литературно-критических очерков, написанных о них в разные годы. Как всякий критический очерк, они субъективны и не претендуют на осмысление феномена в целом. Биографии героев освещены в них только в той степени, в какой помогают представить их место в поколении и литературную эволюцию.

Некоторым шестидесятникам здесь не нашлось места по причинам субъективным: так, об одном из главных голосов поколения — Булате Окуджаве — автор уже написал книгу и пересказывать ее в сжатом объеме не видит смысла. Некоторые фигуры не вызывают у него интереса, и поскольку это никак не энциклопедия, автор счел за лучшее о них умолчать — пусть скажут те, кому они ближе.

Дмитрий Быков
Москва, сентябрь 2018 г.

Феномен шестидесятничества

1

Дата появления термина «шестидесятники» известна совершенно точно: «Юность», декабрьский номер 1960 года, статья Станислава Рассадина «Шестидесятники. Книжки о молодом современнике». Выпускник филфака МГУ Рассадин отлично знал, что «шестидесятниками» называли героев журнальных войн александровской эпохи — в диапазоне от Некрасова до Благосветлова. Потом всё это подернулось ряской времени, но столетие спустя неожиданно показалось — и оказалось — актуальным.

Мариэтта Чудакова на конференции фонда «Либеральная миссия» в 2006 году отмечала главные черты этого поколения: во-первых, это люди, рожденные с 1918 (Григорий Померанц) до 1935 (сам Рассадин) года; я бы включил сюда и 1936-й (Юнна Мориц), и 1938-й (Высоцкий), и даже 1940-й (Бродский в шестидесятые уже активно работал и прославился). Во-вторых, это люди, ориентированные на легальное сотрудничество с властью — «труд со всеми обща и заодно с правопорядком». В-третьих, это комиссарские дети (и часто дети репрессированных), и потому коммунистические иллюзии для них остаются актуальными сравнительно долго, а потом отдираются с кровью, у кого-то раньше, у кого-то позже. Для этих людей характерна высокая активность — не только политическая, вообще азарт и пафос участия в жизни. Они оптимистичны — до известного предела — и обладают высокой солидарностью, контактностью как в работе, так и в проведении досуга.

Шестидесятники — далеко не только деятели культуры, науки или власти: просто поэты или музыканты заметнее, но в этом поколении есть масса людей, которые вертелись около звезд или просто были важными персонажами городской среды. Шестидесятничество — явление преимуще-

шественно урбанистическое, и прозаики «Нового мира» к этой категории не относятся; напротив, торжество «деревенщиков» в семидесятые — как раз нечто вроде реванша. Можно было бы сказать, что для шестидесятников характерно западничество, но это не совсем верно: скорее им близка идея открытости мира, ненужности границ, установка на дружелюбие (но не на пацифизм — Окуджаву, которому этот ярлык часто клеили, он раздражал особенно; скорее тут уместно говорить, как Жолковский, о некоем синтезе милитаристских и пацифистских добродетелей).

Ну вот как-то так. Слово «шестидесятник» давно уже и комплимент, обозначающий талант и солидарность, и ругательство, обозначающее напрасные иллюзии на сотрудничество с властями или промискуитет в сочетании с левачеством, так что каждый вчитывает в него собственный смысл. Мое дело — объяснить свое понимание предмета, а там как вам будет угодно.

Шестидесятничество закончилось в 1968 году, когда вместе с Пражской весной была разгромлена надежда на перемены в СССР. После этого ниша для легального сотрудничества с властью, позволяющего сохранить лицо, исчезла. (Впрочем, она в России всегда была проблематична и, так сказать, нравственно некомфортна.) Самым интересным в шестидесятничестве мне представляется выход из него — то есть поиски новых модусов индивидуального существования, жизни вне общности. Визбор в песне «Телефонный разговор» еще в 1967 году предсказал это состояние строчками: «Что у нас за дела? Как-то все разбрелись». Эти поиски опоры были строго индивидуальны, помочь в них никто не мог. Вознесенский вспомнил, что он из старого священнического рода, и стал расчищать в своих стихах литургическую интонацию и христианскую традицию. Евтушенко, подобно Эренбургу, сосредоточился на борьбе за мир. Высоцкий, подобно Пастернаку, спасался «Гамлетом» и пытался реализоваться в кино. Кто-то эмигрировал в детскую литературу, а кто-то просто эмигрировал. Но, как писал Шпаликов (ему это, по крайней мере, приписывалось): «Опять холодным утром синим иду еврея провожать. Бегут евреи из России, а русским некуда бежать». И если они не уезжали или не были высланы, они могли эмигрировать в смерть, как тот же Шпаликов. Творчество многих шестидесятников в семидесятые было, пожалуй, даже интереснее — как поздний Андрей Тарковский интереснее раннего, не говоря уже о зрелых Стругацких, — но трагичнее, суше, и

шестидесятнический пафос надежды теперь вызывал насмешку у них самих.

Так что явление четко ограничено хронологически и доступно научному рассмотрению.

2

Шестидесятников часто называли «храбрыми в дозволенных пределах», и это справедливо, поскольку вся легальная деятельность в СССР — да и в постсоветской России — осуществлялась именно в дозволенных пределах. Выбор, собственно, очень простой: храбрость в этих рамках — или трусость в них же. Человек либо умеет преодолевать страх, либо лишен этого полезного дара; шестидесятники его преодолевать умели, поскольку на них смотрел, пафосно выражаясь, народ. Весьма возможно, что большинство человеческих добродетелей подпитывается пороками и опирается на них: смелость живет за счет тщеславия, жизнерадостность — за счет гедонизма, даже похотливости, а талант обеспечивается целым набором сопутствующих проблем, эгоцентризма в первую очередь. Эстрадность шестидесятников раздражала очень многих, но, как говорил Евтушенко, его «ячество» было ответом на тотальное «мычество», а яркость его пиджаков — реакцией на тотальную серость. Вознесенский замечал, что не любит тихушников — понятие о скромности стали отождествлять с бессодержательностью, с отсутствием собственного «я», и в этом смысле он был, безусловно, нескромен.

Что касается сотрудничества с государством, в котором шестидесятников регулярно упрекали, — вообще этому поколению досталось больше ненависти и зависти, чем прочим, потому что завидовать явно было чему, — то сегодня ни для кого не секрет, что хрущевская «оттепель» была косметическим ремонтом государства, средством удержать власть после смерти Сталина и крушения его пирамиды; фигурально выражаясь, если бы не стали взрывать его памятники — взорвалось бы всё вместе. Сохранять эту пирамиду в прежнем виде было уже решительно невозможно, и культ разоблачался не только благодаря доброй воле Хрущева (несомненной для автора), но и в силу необходимости корректировать курс. Поэтому «оттепелей» было две. Первая началась сразу после смерти Сталина, была начата прекращением «дела врачей» и увековечена стремительно написанной (и дружно обруганной) повестью Эренбурга.

Вообще, надо сказать, герои этой первой «оттепели» подвергались серьезному давлению, им было труднее, чем собственно шестидесятникам, — и Слуцкого, например, это давление сломало. Его выступление против Пастернака — один из спусковых крючков будущего безумия — было следствием элементарного страха за эту самую «оттепель»: ведь Пастернак подрывал основы только-только начавшегося нового курса! Сломаны были судьбы почти всех авторов нашумевших оттепельных текстов: Дудинцева, автора «Не хлебом единым», не печатали тридцать лет. Галина Николаева за «Битву в пути» удостоилась грандиозного разноса. Роман Гроссмана «Жизнь и судьба», написанный в 1959 году, был изъят при обыске. Судьба «Доктора Живаго», законченного в 1956 году, общеизвестна. Александр Яшин после «Рычагов» был объектом непрерывных проработок, после «Вологодской свадьбы» травля повторилась, а повесть «В гостях у сына» пролежала в столе до перестройки. Альманах «Тарусские страницы» был разгромлен, и второй его выпуск состоялся лишь тридцать лет спустя, когда никому уже не был нужен. Короче, авторы времен первой «оттепели» были подлинно героями, каждый шаг отвоевывали кровью, и некоторая их враждебность — в лучшем случае белая зависть — к шестидесятникам понятна. Те, что называется, пришли на готовое.

Первая «оттепель» закончилась в 1958 году травлей Пастернака, хотя уже после венгерского восстания 1956-го, подавленного с демонстративной жестокостью, всё стало понятно. Именно в 1957—1958 годах умерли Шварц, Зошенко, Заболоцкий, Луговской, Ксения Некрасова; у каждого были свои трагедии и свои диагнозы, но ко всем приложимы слова Ахматовой о Зошенко — «Мишенька не выдержал второго тура». Второй тур был, и в 1957 году общее разочарование в переменах выразили — очень по-разному — два поэта:

Култ личности забрызган грязью,
Но на сороковом году
Култ зла и култ однообразья
Еще по-прежнему в ходу.

И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.

И культ злоречья и мешанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются от пьянства,
Не в силах этого снести.

Это Пастернак. А вот Наум Коржавин:

Я — обманутый в светлой надежде,
Я — лишенный Судьбы и души —
Только раз я восстал в Будапеште
Против наглости, гнета и лжи.

Только раз я простое значенье
Громких фраз — ощутил наяву.
Но потом потерпел поражение
И померк. И с тех пор — не живу.

Грубой силой — под стоны и ропот —
Я убит на глазах у людей.
И усталая совесть Европы
Примирилась со смертью моей.

Только глупость, тоска и железо...
Память — стерта. Нет больше надежд.
Я и сам никуда уж не лезу...
Но не предал я свой Будапешт.

Там однажды над страшною силой
Я поднялся — ей был несродни.
Там и пал я... Хоть жил я в России —
Где поныне влачу свои дни.

Это уже предсказывает позицию Евтушенко — «Русский писатель. Раздавлен русскими танками в Праге». Первую «оттепель» раздавили в Будапеште, вторую — в Праге. Хотя и Новочеркасск 1962 года, о котором говорили шепотом и знали мало, заставил того же Коржавина написать:

Все связи — рвутся. Всем — грозит стихия.
Российский бунт несет не свет, а тьму...
Пусть даже Бог опять спасет Россию,
Коль этот труд не надоел Ему.

Пусть даже вновь потом откроют право...
Нет ритма. Вижу кровь, а не зарю.
И не живу.

Как кролик на удава,
Глаз не сводя, в грядущее смотрю.

Главными поэтами этой первой «оттепели» стали сначала Мартынов и Слуцкий, а потом, когда подморозило, — Владимир Корнилов и Наум Коржавин. Корнилов был трижды исключен из Литинститута, Коржавина прямо оттуда забрали в тюрьму и потом сослали; оба издали первые книги только в 1964 году, оба представительно опубликовались в «Тарусских страницах» (Коржавин дал туда большую подборку, Корнилов — повесть в стихах «Шофер»). Оба запомнились современникам пафосом прямого высказывания, речью несколько корявой и шершавой — даже Слуцкий на их фоне выглядит классицистом. И оба не питали к началу шестидесятых никаких иллюзий.

О Коржавине хочется сказать несколько подробнее, потому что его отношение к шестидесятничеству очень наглядно. Великое его достоинство в том, что голова у него не закружилась в период этого недолгого резонанса, что он не отчаялся потом и после отъезда, на новой почве, не утратил своей интонации. На его писаниях отъезд почти не сказался: можно видеть в этом достоинство или недостаток, но наше дело зафиксировать особенность манеры. Стихи Коржавина вообще эволюционировали очень мало. Он отличался юношеской непосредственностью и в шестьдесят — и не стал от нее избавляться, хотя его и укоряли в инфантилизме. Поэту не обязательно взростеть, достаточно дожить до старости, когда инфантилизм опять становится обаятелен.

Коржавина ругали при жизни и хвалят после смерти в общем-то за одно и то же. Мария Розанова сказала недавно, что, если посмотреть на свою жизнь трезво, окажется, что главными успехами и главными проблемами мы обязаны ровно одним и тем же вещам: «В моем случае это самостоятельность мышления, за которую меня уважали враги и ненавидели иногда даже ближайшие друзья». В случае Коржавина главной причиной успеха и критического скепсиса, а также главным достоинством, за которое его сейчас так однотонно хвалят (никуда не девается вечная русская привычка осуждать неправильность чужой скорби), были прямота высказывания, простота, здравый смысл. Но штука ведь не в этом, а в том, что он так просто и точно высказывает, — потому что за всё это, плюс напоминание о здравом смысле, можно похвалить и Эдуарда Асадова — он ведь тоже шестидесятник. И вы не поверите, но от многих критиков Коржавина — в частных беседах, разумеется, потому что никто не хотел оскорблять старого поэта, — я

слышал, что он такой Асадов и есть, только чуть поумнее; в любой прослойке, в том числе интеллигентской, есть люди, которым нравится, когда вслух и в рифму произносятся общие места. Это их ответ всякому там постмодернизму (в котором они тоже ничего не понимают), напоминание о здравом смысле, о доброте, о простых ценностях. И я никогда не отрицал того, что Асадов нужен, — у него есть неплохие стихи и главное, если девушки переписывают их от руки, то это хорошо для девушек. Всяко лучше, чем — подставьте любое другое занятие, которое характерно для плохих девушек.

Но Коржавин — не Асадов, потому что выражать просто и даже несколько в лоб можно весьма сложные мысли и неоднозначные эмоции. А главная эмоция Коржавина выражена в строчке его раннего (1944 год) стихотворения: «И мне тогда хотелось быть врагом». В отличие от комиссара Слуцкого — поэта гораздо более сильного, потому что гораздо более цельного, — он с самого начала понимал, что советская власть стоит на явной, глубокой, античеловеческой неправильности; что преодолеть человеческое — значит провалиться глубже, а не взлететь выше; Коржавин отстаивает свое право на человеческую эмоцию в нечеловеческое время, и это делает его изгоем, «хоть я за жизнь не выбил ни окна». Пробуждение этого человеческого — крамольно, запрещено, анахронично человеческого — стало его главной лирической темой: модернистский отказ испытывать предписанные эмоции, праздновать навязанные праздники — содержание его лирики.

В начале второй «оттепели» люди стали наконец позволять себе чувствовать не то, что положено, а то, что хочется. Это было сенсационно, и начиная с первой большой публикации в «Тарусских страницах», 36-летний Коржавин очень ненадолго становится — наряду с Владимиром Корниловым и Булатом Окуджавой — главным выразителем этого нового состояния. Ни стиховой техники Корнилова, ни песенной, фольклорной одаренности Окуджавы у него не было, поэтому к началу семидесятых его вытесняют другие имена, но в 1961 году он говорил именно то, что было хлебом насущным. Главное противоречие его поэзии в том, что Советский Союз в это время — после Сталина — состоит из приличных людей, быть приличным считается правильно, доносительство вроде бы заклеямили, старые методы следствия осуждены и наша революционная романтика вроде бы реанимирована... Но

сама эта романтика фальшива и порочна, должен же кто-то вслух признать это. Все наше здание стоит на фальшивом фундаменте, а потому фальшивы и наша «оттепель» с ее блестящими художественными результатами, и наша перестройка, и наша государственность. Наш главный краеугольный камень заложен неправильно, сделан из неправильного материала; очень может быть, что заложили его вовсе не большевики, а Иван Грозный, потому что это при нем началось натравливание одной части народа (правильной) на другую (неправильную). С помощью этого метода управляли все — и Иван, и Петр, и большевики, и их наследники. Но вот Коржавин, которому захотелось быть врагом, эту неправильность почувствовал и о ней заговорил.

В начале шестидесятых стал просыпаться рабочий класс, который тоже понял, что всё неправильно. В 1962-м надежды на перемены были расстреляны в Новочеркасске. Всё остальное — и 1968, и 1985, и 1993, и 2014 годы — было следствием этой развилки, пройденной бесповоротно. Тогда хорошие люди попытались добиться перемен, с тех пор их добиваются только плохие люди. Коржавин это понимал. В его мемуарах «В соблазнах кровавой эпохи» эта мысль доминирует, хотя в огромной двухтомной книге он ни разу не проговаривает ее вслух.

Еще один урок Коржавина заключается в том, что иногда надо говорить прямо, не выделываясь, не боясь простоты. Все так стремятся быть оригинальными и сложными, что забывают об элементарном, и поэтому мы живем так, как живем. Надо иногда быть врагом. И если у него наивные близорукие глаза и уютная внешность Винни-Пуха, можно считать, что ему повезло и у него будет шанс прожить до 93 лет.

Остановимся на одном его тексте, далеко не самом известном и крамольном даже по нынешним временам. Попробуй не раздели общенародное ликование, особенно сейчас! Только поводом для него является не полет Гагарина, а, например, победа футбольной сборной. Мельчает всё, вырождаются и геройства, и злодейства. В этом стихотворении есть все достоинства, они же недостатки, коржавинского метода: непосредственность — и связанное с ней многословие; трюизмы — и отвага повторять эти самые трюизмы во времена их безнадежного забвения; простота — и одновременно сложность идеи, а точнее, со-

стояния, которое сам автор не в силах осмыслить до конца. Ведь люди-то все хорошие, но неправильные. Они ужасно ошибаются. А в общем, и черт с ними, потому что сами они никого не пожалеют.

НА ПОЛЕТ ГАГАРИНА

Шалеем от радостных слез мы.
А я не шалею — каюсь.
Земля — это тоже космос.
И жизнь на ней — тоже хаос.

Тот хаос — он был и будет.
Всегда — на земле и в небе.
Ведь он не вовне — он в людях.
Хоть он им всегда враждебен.

Хоть он им всегда мешает,
Любить и дышать мешает...
Они его защищают,
Когда себя защищают.
И сами следят пристрастно,
Чтоб был он во всем на свете...

...Идти сквозь него опасней,
Чем в космос взлетать в ракете.
Пусть там тарелки, блюдца,
Но здесь — пострашней несчастья:
Из космоса — можно вернуться,
А здесь — куда возвращаться.

...Но всё же с ним не смыкаясь
И ясным чувством согреты,
Идут через этот хаос
Художники и поэты.
Печально идут и бодро.
Прямо идут — и блуждают.
Они человеческий образ
Над ним в себе утверждают.

А жизнь их встречает круто,
А хаос их давит — массой.
...И нет на земле институтов,
Чтоб им вычерчивать трассы.
Кустарность!.. Обидно даже:
Такие открытья... вежи...
А быть человеком так же
Кустарно — как в пятом веке.

Их часто встречают недобро,
Но после всегда благодарны
За свой сохраненный образ,
За тот героизм — кустарный.
Средь шума гремящих буден,
Где нет минуты покоя,
Он все-таки нужен людям,
Как нужно им быть собою.
Как важно им быть собою,
А не пожимать плечами...

...Москва встречает героя,
А я его — не встречаю.

Хоть вновь для меня невольно
Остановилось время,
Хоть вновь мне горько и больно
Чувствовать не со всеми.
Но так я чувствую всё же,
Скучаю в праздники эти...
Хоть, в общем, не каждый может
Над миром взлететь в ракете.
Нелегкая это работа,
И нервы нужны тут стальные...
Всё правда... Но я полеты,
Признаться, люблю другие.
Где всё уж не так фабрично:
Расчеты, трассы, задачи...
Где люди летят от личной
Любви — и нельзя иначе.
Где попросту дышат ею,
Где даже не нужен отдых...
Мне эта любовь важнее,
Чем ею внушенный подвиг.

Мне жаль вас, майор Гагарин,
Исполнивший долг майора.
Мне жаль... Вы хороший парень,
Но вы испортитесь скоро.
От этого лишнего шума,
От этой сыгранной встречи,
Вы сами начнете думать,
Что вы совершили нечто, —
Такое, что люди просят
У неба давно и страстно.
Такое, что всем приносит
На унцию больше счастья.
А людям не нужно шума.

И всё на земле иначе.
И каждому вредно думать,
Что больше он есть, чем он значит.

Все в радости: — сон ли, явь ли, —
Такие взяты высоты.
Мне ж ясно — опять поставлен
Рекорд высоты полета.
Рекорд!

...Их эпоха ниже
На нитку, хоть судит строго:
Летали намного ниже,
А будут и выше намного...

А впрочем, глядите: дружно
Бурлит человечья плазма.
Как будто всем космос нужен,
Когда у планеты — астма.
Гремите ж всюду, орудья!
Радость сия — велика есть:
В космос выносят люди
Их победивший
Хаос.

Коржавин был последним поэтом первой и первым поэтом второй «оттепели», которая началась не потому, что власть вдруг ощутила половинчатость собственных реформ, а потому, что реформы эти шли наперекосяк, со множеством ошибок, с нарастающим ропотом и нехваткой продуктов. Продуктов всегда было не ахти как много, но при Сталине роптать боялись. Вообще, в России во времена реформ всегда делается множество ошибок — главным образом потому, что только в эти времена что-то вообще делается. И Хрущев оказался жертвой прямого саботажа, потому что, кажется, перемены у нас затеваются только для того, чтобы их компрометировать, чтобы потом еще тридцать лет вспоминать — вот, не хотите же вы, чтобы было как в шестидесятые, когда не было масла? Как в девяностые, когда не было ничего? Хрущеву надо было любой ценой подружиться с интеллигенцией, начать новый круг разоблачений Сталина, свалить всё на него — так появился в печати 18 ноября 1962 года одиннадцатый номер «Нового мира» с «Одним днем Ивана Денисовича». (А что еще было в том номере, который потом изымали из всех библиотек и прятали за рядами книг в библиотеках до-

машних? Два рассказа Хемингуэя, путевые записки Виктора Некрасова, стихи и переводы из Блейка Маршака.) Солженицын всё понимал: «Самое смешное для меня, ненавистника Сталина, — хоть один раз требовалось назвать Сталина как виновника бедствий. (И действительно — он ни разу никем не был в рассказе упомянут! Это не случайно, конечно, у меня вышло: мне виделся советский режим, а не Сталин один.) Я сделал эту уступку: помянул “бабку усатого” один раз».

Когда требовалось низвергнуть старую гвардию, когда Хрущев — как раз в 1962 году — исключил из КПСС уже выведенную из ЦК «антипартийную группу», когда народ всюду роптал из-за недостатка масла, а кое-где и хлеба, — разрешено было, хоть и ненадолго, критиковать Сталина, а в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года он был вынесен из Мавзолея. И в это самое время расцвели те, кого называли шестидесятниками: они, «волю почуя», написали свои главные тексты, хотя начинали — большей частью робко, по-советски — еще в пятидесятых.

3

«Оттепель» выдохлась не по политическим, а по метафизическим причинам: требовалось шагнуть дальше и глубже. Но этой глубины не было, и к 1968 году стало понятно, что эта-то половинчатость, как ни ужасно, эта недостаточность и обеспечивала шестидесятникам весь их расцвет. Они могли существовать в обойме очень недолго — как недолго живущие химические элементы, открываемые в то самое время в той самой Дубне, где желанными гостями были молодые поэты. Пора умеренного диссидентства, осторожной фронды и кратковременной симфонии общества с государством, эпоха дискуссий между физиками и лириками, полемика умеренных новаторов со сравнительно беззубыми архаистами закончилась. Это было счастливое и чрезвычайно тревожное время, время горькое и поэтическое, наивное и полное отчаянных предчувствий. А настоящая свобода, свобода полная и ничем не ограниченная, была совсем не для шестидесятников, им было в ней холодно и неуютно. Побывав в Польше и пообщавшись с тамошними интеллектуалами, Окуджава написал в «Прощании с Варшавой» (потом выбросил, конечно):

Свобода — бить посуду? Не спать всю ночь — свобода?
Свобода — выбрать поезд и презирать коней?
Нас обделила в детстве иронией природа.
Есть высшая свобода, и мы идем за ней.

Представление о высшей свободе как о праве на творчество, как о возможности работать, а не бездельничать, было очень комиссарским, и все комиссарские иллюзии закончились бесповоротно. Дальше надо было как-то выживать при бесчеловечной власти, которая на короткое время — в своих сугубо прагматических целях — притворилась человеческой. Ну и хватит, побаловались — и будет. Возобновились политические процессы. После процесса Синявского и Даниэля кое-кто еще прятал голову в песок, после процесса Гинзбурга — Галанскова все всё поняли, а после демонстрации семерых... ну, чего уж там. Можно сколько угодно сожалеть о прекрасной эпохе «Заставы Ильича», не надо забывать лишь о том, что в подкладке у всей тогдашней эйфории были тревога и полное, честное сознание кратковременности всего происходящего.

Как только шестидесятники перестали сочинять лирику и начали писать поэмы, Лев Аннинский понял: лирическое усилие кончилось, началась ретардация. Был, пожалуй, только один человек, который использовал шестидесятые по максимуму, взял от них всё возможное — и не остановился в развитии, когда затормозили все. Это был, понятное дело, Солженицын. Не будем забывать, что не только «Братская ГЭС», но и «Архипелаг ГУЛАГ» написан в шестидесятые.

Вопрос о стратегии Солженицына и мере ее успешности разрешим только при точном знании, чего он, собственно, хотел. Об этом мы знаем очень мало — досадительно мало, сказал бы он; но, собственно, мы и о России в целом знаем немного, и писать ее историю надо заново, перестраиваясь на ходу. Шестидесятники могли полагать, что все зло от Сталина, Солженицын взглянул глубже и увидел, что всё зло от Ленина и компании. Впоследствии, явственно мигрируя в сторону славянофильства, он видел положительный идеал в Столыпине, а зло в либерализме и западничестве, чуть ли даже не в евреях. Сегодняшним нам уже понятно, что Ленин и его присные лишь пытались вправить роковой российский вывих — но вправляли его так, что ломали кости. Понятно, что дело в роковой и неизменной российской природе: как формулируют сегодня то

ли самые умные, то ли самые циничные, то ли нонконформисты, то ли конформисты с опережающе быстрым приспособлением, Россия никогда не была и не будет другой, и надо учиться наслаждаться той Россией, какая есть.

Будущие мыслители, которым предстоит еще пережить очередной радикальный западный поворот, придут, вероятно, к выводу о том, что зло коренится не в России, а в самой человеческой природе, от которой Запад умеет разнообразно отвлекаться — политикой, экономикой, просвещением, — а Россия всего лишь воспринимает мир как есть, и никакие выборы и просвещение не сделают его другим. Иными словами, как догадывался еще Уэллс, можно дать зверям закон, но сделать их людьми не может никакая революция, нужна долгая эволюция, и успех ее не гарантирован, — и потому придется признать, что настоящий человек еще не родился, что мы лишь корчимся в родовых муках, «почувяв на плечах еще не распустившиеся крылья». Вопрос о том, какие условия более благоприятны для эволюции и для появления этого сверхчеловека, в какой из чашек Петри он быстрее образуется — в западной, восточной, а может, вообще в Африке, — остается открытым, потому что в России сверхчеловеки рождаются, пожалуй, еще и почаще, чем в Америке.

Сила отталкивания от российской реальности такова, что именно здесь шанс прыгнуть выше головы остается стабильно высоким, и сам Солженицын тому блестящий пример. Собственный опыт перерастания всех границ — сначала шестидесятилетних, затем либеральных, затем национальных — он, увы, не отрефлектировал даже в автобиографических сочинениях, увлекшись выяснением отношений сначала с властью, а потом с «нашими плюралистами». Поэтому приходится говорить о том, что главная его стратегия — стратегия самореализации — была бессознательна и во многом интуитивна. Своей главной сверхзадачей — стать сверхчеловеком, гражданином будущего сверхобщества — он, по всей вероятности, попросту не формулировал; все же прочие сверхзадачи были вспомогательными и временными, и ни в одной области, кроме собственно литературной, он не добился впечатляющих успехов. Разберем этот спорный с виду тезис подробнее.

Легко предположить, — и соблазнительная легкость этого предположения должна бы удерживать нас от него, — что главной целью Солженицына было получение статуса

национального пророка, величайшего писателя эпохи, к чьим советам прислушиваются благоговейные правители и благодарные читатели. Что скрывать, такая амбиция, во многом инфантильная, у него была, как почти у всех советских подростков великого предвоенного поколения; мы обычно рассматриваем Солженицына вне этого контекста, ибо его вынесло на гораздо более широкий путь, — а между тем у наиболее активных комиссарских детей, в диапазоне от Слуцкого до Окуджавы, предощущение великой судьбы тоже было (Коган его и не скрывал), и тому же Окуджаве потребовались лошадиные дозы самоиронии, чтобы его заглушить — да и то до конца, слава богу, не удалось.

Пожалуй, созидание глобального постамента для собственной незаурядной фигуры — единственное, что Солженицыну удалось в полной мере. Эта стратегия как раз не особенно интересна, ибо самоочевидна: надо ставить перед собой действительно глобальные задачи — и целеустремленно, фанатично их решать. Одной такой глобальной задачей был свидетельский рассказ об аде сталинских лагерей, с этой задачей он справился, написав «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАГ». Второй задачей была демонстрация метафизической глухоты и бедности советского человека, лишенного — пусть не тотально и не до конца — религиозного чувства и экзистенциального опыта: с этой задачей он справился в «Раковом корпусе» и лучшем своем рассказе «Случай на станции Кочетовка» (Кречетовкой станция стала в новомирской публикации, дабы не задеть Кочетова, о котором автор не думал вовсе).

Третьей — и хронологически первой — была попытка осмысления русской революции, и в этом смысле Солженицын не то чтобы потерпел поражение, но пережил полудачу. «Красное колесо» в силу малой читабельности, документальной точности и художественной слабости не состоялось именно как художественное целое: автор показал и обреченность империи, — каковы бы ни были его собственные убеждения, никаких иллюзий насчет ее жизнеспособности у читателя не остается, — и негодность средств, предлагаемых всеми общественными силами, от кадетов до большевиков. Но никакой альтернативы этим средствам в эпопее не просматривается — возможно, именно в силу художественной неубедительности Воротынцева и Лаженицына, первый из которых является идеалом Сол-

женицына, а второй — юношеским автопортретом. (Как всякий истинный человек модерна, — а в его принадлежности к этому отряду людей сомневаться не приходится, при всем прокламированном консерватизме его воззрений, — Солженицын мог писать и заинтересованно думать только о себе, о тайне собственной личности; самоанализом, автоисследованием в огромной степени был и «Ленин в Цюрихе», чего автор, кажется, не скрывал.) «Красное колесо» более или менее выпукло демонстрирует — главным образом в коллажно-цитатных главах, — от чего погибла Россия, но не указывает на возможные пути спасения; последующий опыт показал, что советское, при всей его тупости и жестокости, ничем не уступало по этой части русскому, имперскому, да и выродилось в него уже к середине тридцатых. Единственным оправданием советского эксперимента стала трансформация советских масс в «образованщину», которую Солженицын так презирал.

Как видим, любые политические амбиции в России да и в мире обречены — кроме усилий, направленных на посильное смягчение участи угнетаемых масс и на их просвещение; в результате имеет смысл говорить лишь о двух стратегиях, то есть двух уроках Солженицына. Первый из них, уже упомянутый, — путь в пророки: это не так трудно, как кажется, и при определенном художественном таланте исполнимо. Наличие у Солженицына такого таланта отрицать невозможно — его пластический дар, умение создавать прочные фабульные конструкции, психологическая зоркость вполне очевидны даже по ранним опытам, да и стихотворные сочинения, вошедшие в «Дороженьку», поражают не столько отсутствием вкуса (он гению не обязателен), сколько масштабом, новаторством, беспощадностью самонаблюдения. Что касается второго урока, или второго солженицынского проекта, — тут сложность, как было сказано, именно в том, что Солженицын нигде прямо об этой второй своей задаче не говорил. Главный вопрос Чернышевского — «Что делать?» — имеет вполне конкретный ответ: делать — себя. Именно об этом самосозидании, а не о строительстве гипотетически здорового общества, рассказывает опыт Рахметова; именно самосозиданием заняты прочие «новые люди». Когда власть рухнет под собственной тяжестью — а это неизбежно, — нужно быть готовыми к тому, чтобы подхватить падающее государство; нужно использовать время исторической паузы не для стенаний,

сетований, провокаций (последнее особенно соблазнительно), но для отважного и последовательного самовоспитания; именно сформировать из себя человека твердых нравственных принципов и негибкой отваги — задача Солженицына, и пусть сам он в долгой своей жизни не всегда оказывался на высоте положения — цель эту он обозначил ясно и убедительно. Ему неинтересен массовый человек, Иван Денисович, остающийся всего лишь «типичным представителем», а грубее говоря — терпилой; немногие поняли тогда, что Солженицын не поэтизирует этот тип, не сочувствует ему, а видит в нем самом, в его политической инертности и абсолютной адаптивности причину всех его бед. Ему некогда было стать борцом, негде было выучиться негибкости, — но у кого-то все же получилось: у кавторанга, которому автор явно симпатизирует, у сектанта Алешки, которого он попросту любит... Это ведь его слова — что, если бы чекисты, выходя на ночную охоту, хоть немного сомневались в собственной безнаказанности и неприкосновенности, всё в российской истории могло пойти по-другому.

Солженицын на собственном опыте показал, как живет и действует по-настоящему мотивированный человек. Такой мотивацией может быть и тщеславие — ничего страшного, у всех шестидесятников было так; но если человек поставил цель — не дать себя унижить, собой воспользоваться, себя растоптать, — то цель эта достижима. Нужно всего лишь в какой-то момент осознать и возненавидеть альтернативу, проклясть то рабское состояние, в котором нас пытаются держать все российские вертикали, не отличимые по существу. И тогда факт рождения в России можно воспринимать не как проклятие, но именно как уникальный шанс — потому что под таким давлением и при таких температурах графит действительно обращается в алмаз. «Дробя стекло, кует булат» — это российский «модус операнди» относительно собственных граждан; и хотя субъективно, как показал тот же Окуджава, это совершенно невыносимо, — зато уж и почти нигде в мире не формируются больше такие уникальные сверхчеловеческие существа, как Домбровский, Солженицын, Шаламов, Евгения Гинзбург. Что все они по-разному осмысливают свой опыт — нормально, что не очень любят друг друга — тем более. Важно лишь, что из российской реальности они сумели сделать трамплин для прыжка на следующую эволюционную сту-

пень, — а как в этом смысле расценивать их политические взгляды, не столь уж интересно.

Солженицын — почти буквальная инкарнация Достоевского, и сам он это, кажется, сознавал, почему и подчеркивал внешнее сходство. Как и Достоевский, он был открыт главным редактором главного тогдашнего журнала, выдающимся лириком с репутацией певца горя народного; как и Достоевский, прошел путь от либерала до почвенника, от западника до славянофила, и побывал в неволе, и написал документальную книгу о ней, прославившую его больше всех художественных; и писал романы идей, в которых пластика играет роль второстепенную — диалоги и споры важнее портретов и пейзажей. Как и Достоевский, он имел взгляды весьма путанные и не слишком последовательные; но дóрог он нам не этим. Дорог он нам своим состраданием и своей ненавистью — хотя удивительная чуткость к либеральной бесовщине мешает ему быть столь же чутким к бесовщине государственной и религиозной (к счастью, последняя сама себя отлично разоблачает). Как и Достоевский, он интересовался еврейским вопросом лишь потому, что на деле его волновал только вопрос русский — вопрос об отсутствии у русских столь завидной национальной солидарности. Как и Достоевский, верил в то, что внутренний переворот, совершающийся в тюрьме (последнее, впрочем, необязательно), может превратить человека в сверхчеловека — ведь идея сверхчеловечности Достоевскому вовсе не чужда, он только не верит в ее реализацию путем насилия над другими, убийства, «наполеонства». «“Станьте солнцем” — вот все вас и увидят», и в этом весь урок Порфирия Петровича (явный автопортрет, cameo) Раскольникову.

В этом смысле не так уж важно, на каких шагах по преодолению внутреннего рабства настаивает Солженицын, будь то жизнь не по лжи или так называемое «смирение, самоограничение»; не так уж важно, враждебен он интеллигенции либо благодарен ей. Тезисы, которые он защищает, вообще вторичны. Первичны отвага и страсть, ненависть к любой зависимости, постоянная самурайская готовность к худшему, гигантская работоспособность, фанатическая целеустремленность — то, без чего не стать человеком новой эпохи. Иными словами, совершенно не важно, какую тактику изберет будущий лидер, — важно лишь то, скольких людей вокруг себя он сможет заразить убежденностью, что

дальше невозможно жить по-прежнему, «по лжи». Новая Россия начнется не с нового общественного строя, а с нового человека — одним из редчайших пока образцов которого был Солженицын.

А что новые люди иногда невыносимы для старых — так это нормально. Первые прямоходящие тоже наверняка столкнулись с обвинениями в самонадеянности и эгоцентризме...

В 1968 году время хороших людей закончилось и наступило время людей новых. О том, кто и как с этим справлялся, мы и будем говорить.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ О ГЕРОЯХ КНИГИ

Галич (Гинзбург) Александр Аркадьевич (1918—1977) родился в Екатеринославе (позже Днепропетровск) в интеллигентной еврейской семье. Учился в Москве в Литературном институте и Оперно-драматической студии Станиславского. В 1950-е годы стал популярным драматургом и сценаристом. Одновременно начал сочинять песни, критически отражающие советскую историю и современность. Их публичное исполнение привело к конфликту с властью; Галич был исключен из творческих союзов, лишен средств к существованию и в 1974 году вынужден покинуть страну. Работал на радио «Свобода», погиб в Париже от несчастного случая (удар током при подключении антенны). Его книги и аудиозаписи стали издаваться на родине с 1989 года.

Асадов Эдуард Аркадьевич (1923—2004) родился в городе Мерв (Мары) Туркестанской АССР в семье учителей, карабахских армян. Окончив школу в Москве, ушел добровольцем на фронт, воевал в артиллерии, в 1944 году был тяжело ранен в боях за Севастополь и потерял зрение. После войны окончил Литературный институт им. А. М. Горького, в 1951 году опубликовал первый сборник стихов «Светлая дорога». Автор 47 книг стихов и прозы, вышедших большими тиражами. Выступал в крупнейших концертных залах страны при неизменном участии жены — артистки Галины Разумовской. Умер в больнице подмосковного города Одинцово.

Высоцкий Владимир Семенович (1938—1980) родился в Москве в семье офицера Семена Высоцкого и переводчицы Нины Серединой. Окончил Школу-студию МХАТ, играл в

Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, а с 1964 года — в только что созданном Театре на Таганке. Параллельно начал сниматься в кино (сыграл в 26 фильмах) и исполнять на домашних концертах свои песни. С годами стал всенародно популярным актером и певцом, но его творчество замалчивалось или резко критиковалось официальной прессой. Его пластинки выходили в основном за рубежом, а первый сборник стихов «Нерв» появился только после смерти. Умер от инфаркта, вызванного злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Похоронен на Ваганьковском кладбище при небывалом стечении народа (более 100 тысяч человек). В последующие годы его стихи и песни издавались громадными тиражами, вышло множество книг о нем. В 2002 году в серии «ЖЗЛ» вышла книга Владимира Новикова о Высоцком, с тех пор многократно переизданная.

Слуцкий Борис Абрамович (1919—1986) родился в городе Славянске Харьковской губернии. Учился в Московском юридическом институте и Литературном институте им. А. М. Горького. В первые дни войны ушел на фронт, служил политработником и военным следователем, был тяжело ранен. В 50-е годы занимался переводами, позже стал широко известным поэтом (первая книга стихов «Память» вышла в 1956 году). В последние годы жизни страдал психическим расстройством. Умер в Туле, похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

Самойлов (Кауфман) Давид Самуилович (1920—1990) родился в Москве в семье врача-венеролога. Учился в МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и искусства). В годы войны был пулеметчиком, прошел боевой путь от Тихвина до Берлина, награжден орденами и медалями за храбрость. После войны занимался переводами, первую книгу стихов «Ближние страны» выпустил в 1958 году. Из-за связей с диссидентами попал в опалу, с 1974 года жил с семьей в Пярну (Эстония). Умер и похоронен в Таллине.

Евтушенко Евгений Александрович (1932—2017) родился на станции Зима (или в соседнем городе Нижнеудинск) Иркутской области в семье геолога Александра Гангнуса и актрисы Зинаиды Евтушенко. Окончил школу в Москве, учился в Литературном институте им. А. М. Горького.

В 1952 году издал первую книгу стихов «Разведчики грядущего», став самым молодым членом Союза писателей СССР. В годы оттепели прославился как известнейший русский поэт в Союзе и на Западе, читавший стихи не только в концертных залах, но и на стадионах. После советского вторжения в Чехословакию в 1968 году написал письмо протеста Л. И. Брежневу, но вскоре примирился с властью, став официальным поэтом-пропагандистом. В годы перестройки возглавил либеральную писательскую ассоциацию «Апрель», был избран народным депутатом СССР. С 1991 года жил в США, но постоянно приезжал в Россию. Автор десятков книг стихов и прозы, составитель многотомных антологий русской поэзии. Умер от рака в городе Талса, штат Оклахома; похоронен на Переделкинском кладбище в Москве. В 2017 году в серии «ЖЗЛ» вышла книга Ильи Фаликова «Евгений Евтушенко».

Вознесенский Андрей Андреевич (1933—2010) родился в Москве в семье инженера-гидротехника, окончил Московский архитектурный институт. С детства писал стихи, получившие одобрение Б. Пастернака. Первый сборник стихов «Мозаика», вышедший в 1960 году во Владимире, был встречен критикой неодобрительно; позже Вознесенское часто ругали за формализм, безыдейность и подражание Западу. Несмотря на это, он много издавался, выступал в СССР и за рубежом, на его стихи написаны популярные эстрадные песни. Больше сорока лет был женат на писательнице Зое Богуславской. Последние годы страдал болезнью Паркинсона, умер в поселке Переделкино, похоронен на Новодевичьем кладбище. В 2015 году в серии «ЖЗЛ» вышла книга Игоря Вирабова «Андрей Вознесенский».

Ахмадулина Белла (Изабелла) Ахатовна (1937—2010) родилась в Москве в семье партийного работника Ахата Ахмадулина и переводчицы Надежды Лазаревой. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького, где познакомилась с первым мужем Евгением Евтушенко. Первый сборник стихов «Струна» вышел в 1962 году. В дальнейшем книги Ахмадулиной выходили редко, но пользовались большим успехом, как и ее поэтические чтения. Много лет она жила в поселке Переделкино с последним мужем, театральным художником Борисом Мессерером. Умерла от сердечного приступа, похоронена на Новодевичьем кладбище.

Матвеева Новелла Николаевна (1934—2016) родилась в городе Детское Село (ныне Пушкин) Ленинградской области в семье географа и путешественника Николая Матвеева-Бодрого. Работала воспитательницей в детдоме, заочно окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Первый сборник стихов «Лирика» вышел в 1961 году. В те же годы начала сочинять и петь под гитару песни на свои стихи и стихи мужа Ивана Киуру. Была также автором пьес, переводов, романов, многие из которых остались неопубликованными. Умерла на своей даче недалеко от Химок, похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. В 2006 году в мемуарной серии «Близкое прошлое» вышла книга ее воспоминаний «Мяч, оставшийся в небе».

Шпаликов Геннадий Федорович (1937—1974) родился в городе Сегежа Карельской АССР в семье военного инженера, погибшего на фронте. Окончил суворовское училище, потом сценарный факультет ВГИКа. В 60-е годы стал автором сценария таких культовых картин, как «Застава Ильича» и «Я шагаю по Москве», поставил фильм «Долгая счастливая жизнь», сочинял пьесы, стихи и песни. Вынужденный творческий простой, вызванный давлением цензуры, привел Шпаликова к алкоголизму и душевному кризису. Повесился в Доме творчества писателей в Переделкине, похоронен на Ваганьковском кладбище. Посмертно опубликован первый сборник стихов «Избранное» (1979). В 2017 году в серии «ЖЗЛ» вышла книга Анатолия Кулаги-на «Шпаликов».

Бродский Иосиф Александрович (1940—1996) родился в Ленинграде в семье военного фотографа Александра Бродского и бухгалтера Марии Вольперт. После окончания школы работал в геологических экспедициях, начал писать стихи и читать их в компаниях друзей. После статьи в газете «Вечерний Ленинград», обвинившей Бродского в тунеядстве, он был в 1964 году арестован и приговорен к пяти годам ссылки в Вологодскую область. После освобождения был лишен возможности печататься и в 1972 году эмигрировал в США. Получил широкую известность на Западе, в 1987 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. Автор многочисленных сборников стихов и эссе, пьес, переводов. С 1988 года стал печататься на родине, но вернуться отказался, несмотря на сохранившуюся тягу к Рос-

сии и ее культуре. Умер от сердечного приступа во сне в своей квартире в Нью-Йорке, похоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции.

Слепакова Нонна Менделевна (1936—1998) родилась в Ленинграде в семье инженера-текстильщика. Окончила Ленинградский библиотечный институт им. Н. К. Крупской, в 1962 году выпустила первый сборник стихов «Кабутта». Автор 14 книг стихов (самый полный, «Полоса отчуждения», вышел посмертно), рассказов, детских пьес, переводов. Много лет прожила на Петроградской стороне с мужем, поэтом Львом Мочаловым. Умерла от рака, похоронена на Серафимовском кладбище.

Максимов Владимир Емельянович (наст. Самсонов Лев Алексеевич) (1930—1995) родился в Москве. После гибели отца-рабочего на фронте воспитывался в детском доме, беспризорничал, был осужден по уголовным статьям. После освобождения в 1951 году жил на Кубани, где начал заниматься литературным трудом. Первая повесть «Мы обживаем Землю» опубликована в 1961 году в альманахе «Тарусские страницы». Романы «Карантин» и «Семь дней творенья» были отвергнуты цензурой; после их публикации на Западе Максимов был помещен в психиатрическую больницу и в 1974 году выслан из СССР. В Париже стал редактором влиятельного литературного журнала «Континент». В постсоветскую эпоху резко критиковал политику новых российских властей. Умер от рака, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Некрасов Виктор Платонович (1911—1987) родился в Киеве в семье врача. Окончил Киевский строительный институт, параллельно учился в театральной студии, работал актером. На фронте был сапером, участвовал в Сталинградской битве. Первая повесть «В окопах Сталинграда», напечатанная в 1946 году в журнале «Знамя», получила Сталинскую премию и была экранизирована (фильм «Солдаты», 1956). Последующие произведения Некрасова подвергались критике, он был исключен из творческих союзов и в 1974 году вынужден эмигрировать. Жил в Париже, опубликовал несколько книг прозы. Умер от рака, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Его произведения стали печататься на родине с 1989 года.

Синявский Андрей Донатович (1925—1997) родился в Москве в семье партийного работника, бывшего левого эсера. Окончил филфак МГУ, работал в Институте мировой литературы, издал несколько литературоведческих работ. Параллельно писал сатирические произведения, которые издавал на Западе под псевдонимом «Абрам Терц». За это в 1966 году был осужден на семь лет колонии вместе со своим другом и соавтором Юлием Даниэлем. После освобождения был лишен возможности печататься и эмигрировал во Францию, где вместе с женой Марьей Розановой основал литературный журнал «Синтаксис». За рубежом написал книги «Иван-дурак», «Прогулки с Пушкиным», «Кошкин дом», автобиографический роман «Спокойной ночи». Умер от рака, похоронен в Фонтене-о-Роз под Парижем.

Нагибин Юрий Маркович (1920—1994) родился в Москве. Сын убитого красными дворянина, воспитан приемным отцом — адвокатом Марком Левенталем, позже репрессированным. Учился на сценарном факультете ВГИКа, на фронте был политработником и военным корреспондентом. В 1943 году выпустил первый сборник рассказов. После войны стал членом Союза писателей, писал рассказы, повести, сценарии более 40 фильмов. Много лет вел дневник, опубликованный посмертно и ставший самым известным произведением писателя вместе с мемуарными повестями «Дафнис и Хлоя» и «Моя золотая теща». Последние годы провел в Италии, умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Трифонов Юрий Валентинович (1925—1981) родился в Москве в семье военачальника и государственного деятеля Валентина Трифонова, расстрелянного в годы «большого террора». Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, в 1950 году опубликовал повесть «Студенты», получившую Сталинскую премию. Стал известен в 70-е годы циклом «московских» повестей, романами «Дом на набережной», «Нетерпение», «Время и место». Умер от тромбоза легочной артерии, похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Семенов (Ляндрес) Юлиан Семенович (1931—1993) родился в Москве в семье редактора Семена Ляндреса, позже репрессированного. Окончил Московский институт востоковедения, много лет работал журналистом в СССР и за

рубежом. В 1959 году опубликовал первый роман «Дипломатический агент». Выпустил больше 50 книг, особую известность получил цикл романов о советском разведчике Исаеве-Штирлице и его экранизации. В 1989 году Семенов создал первое в СССР частное издание — газету «Совершенно секретно». Вскоре перенес инсульт и до самой смерти оставался прикован к постели. Похоронен на Новодевичьем кладбище. В 2006 году в серии «ЖЗЛ» вышла биография Семенова, написанная его дочерью Ольгой.

Братья Стругацкие Аркадий Натанович (1925—1991) и Борис Натанович (1933—2012) родились в Ленинграде в семье редактора и учительницы. Аркадий окончил Военный институт иностранных языков, работал переводчиком с японского, Борис получил специальность астронома, работал в Пулковской обсерватории. В 50-е годы начали писать научно-фантастические рассказы; первый совместный рассказ «Извне» напечатан в журнале «Техника молодежи» в 1958 году, а в 1959 году вышла первая книга «Страна багровых туч». С годами Стругацкие стали классиками советской фантастики, признанными и за рубежом, хотя некоторые их книги были запрещены цензурой. После смерти брата Борис Стругацкий продолжил литературную деятельность под псевдонимом С. Витицкий, учредил журнал фантастики «Полдень. XXI век» и премию «Бронзовая улитка», много лет возглавлял семинар молодых фантастов в Санкт-Петербурге. Умер от лимфосаркомы, завещал кремировать себя и развеять прах над Пулковскими высотами.

Искандер Фазиль Абдулович (1929—2016) родился в Сухуме в семье купца-перса и абхазки. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, работал журналистом. В 1957 году выпустил первую книгу стихов «Горные тропы», стал известен после публикации в журнале «Юность» сатирической повести «Созвездие Козлотура» (1966). Автор множества книг, включая роман-эпопею «Сандро из Чегема», урезанный цензурой и впервые изданный целиком в 1989 году. Его книги, написанные по-русски, часто посвящались родной Абхазии, где он стал национальным классиком. Умер от сердечного приступа на даче в Перedelкине, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Шукшин Василий Макарович (1929—1974) родился в алтайском селе Сростки в семье председателя колхоза, рас-

стрелянного в годы коллективизации. Учился в Бийском автомобильном техникуме, работал слесарем, служил в военно-морском флоте. Был учителем русского языка в родном селе. В 1960 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, играл в кино и сам поставил несколько фильмов. В 60-е годы начал писать рассказы, в 1963 году выпустил в издательстве «Молодая гвардия» первую книгу «Сельские жители». При жизни опубликовал семь книг прозы. Умер от инфаркта (по официальной версии) на теплоходе «Дунай» во время съемок фильма С. Бондарчука «Они сражались за Родину». Похоронен на Новодевичьем кладбище. В серии «ЖЗЛ» вышли две биографии Шукшина, написанные Владимиром Коробовым и Алексеем Варламовым.

Аксенов Василий Павлович (1932—2009) родился в Казани в семье партийного работника Павла Аксенова и его жены, в будущем писательницы Евгении Гинзбург. В годы «большого террора» родители мальчика были арестованы, он жил у родственников, потом с матерью в Магадане. Окончил Ленинградский медицинский институт, работал врачом, потом занялся литературой. Первая повесть «Коллеги» вышла в 1959 году и была экранизирована, как и роман «Звездный билет». Многие произведения Аксенова подвергались критике и не печатались, романы «Ожог» и «Остров Крым» были опубликованы за рубежом. В 1980 году писатель с семьей был вынужден уехать в США, позже жил во Франции. После 1989 года он начал публиковаться на родине, часто приезжал в Москву. В 2008 году перенес инсульт, от последствий которого не оправился до самой смерти. Похоронен на Ваганьковском кладбище. В 2012 году в серии «ЖЗЛ» вышла книга Дмитрия Петрова «Аксенов».

Ерофеев Венедикт Васильевич (1938—1990) родился на станции Чупа Карельской АССР в семье железнодорожника, осужденного позже за антисоветскую пропаганду. Учился в нескольких вузах, но отовсюду был отчислен. Сменил множество занятий, от грузчика до стрелка ВОХР. В 1970 году, работая монтажником в Подмосковье, написал самое известное произведение — поэму в прозе «Москва — Петушки». С 1976 года жил в Москве. Умер от рака горла, похоронен на Кунцевском кладбище.

Распутин Валентин Григорьевич (1937—2015) родился 15 марта 1937 года в поселке Усть-Уда Иркутской области

в семье начальника почты, вскоре осужденного. Окончил историко-филологический факультет Иркутского университета, в годы учебы начал работать в газете и писать рассказы. Первая книга «Край возле самого неба» вышла в 1966 году. Распутин стал известен в 70-е годы как автор повестей «Живи и помни» и «Прощание с Матерой», ставших классикой «деревенской» прозы. В 80-е годы писатель активно занялся общественной деятельностью, в постсоветские годы примыкал к КПРФ и национал-патриотическим организациям. Его последняя книга «Дочь Ивана, мать Ивана» вышла в 2004 году в издательстве «Молодая гвардия». Умер в Москве, похоронен в Иркутске на кладбище Знаменского монастыря. В 2016 году в серии «ЖЗЛ» вышла книга Андрея Румянцева «Валентин Распутин».

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
Феномен шестидесятничества	6

Часть первая

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШ

Александр Галич	26
Эдуард Асадов	36
Владимир Высоцкий	48
Борис Слуцкий	68
Давид Самойлов	77
Евгений Евтушенко	95
Андрей Вознесенский	126
Белла Ахмадулина	147
Новелла Матвеева	155
Геннадий Шпаликов	181
Иосиф Бродский	188
Нонна Слепакова	195

Часть вторая

ОБРЕЧЕННЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Владимир Максимов	220
Виктор Некрасов	230
Андрей Синявский	239
Юрий Нагибин	247
Юрий Трифонов	258
Юлиан Семенов	271
Братья Стругацкие	283
Фазиль Искандер	296
Василий Шукшин	306
Василий Аксенов	325
Венедикт Ерофеев	350
Валентин Распутин	360
Биографические справки о героях книги	366